



ВЛАДИМИР

ПОЗНЕР



Прощание
с иллюзиями

«Поедемте
в Англию»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БИОГРАФИИ

Владимир Владимирович Познер
Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию»
Серия «Эксклюзивные биографии»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10265986

Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию...» / Владимир Познер: АСТ; Москва; 2015

ISBN 978-5-17-091890-4

Аннотация

Это не просто мемуары человека с очень сложной, но поистине головокружительной судьбой. Книга интересна тем, что Владимир Познер видел многие крупнейшие события XX века «с разных сторон баррикад» и умеет увлекательно и очень остро рассказать об этом. Но главное – он пытается трезво и непредвзято оценить Россию, Америку и Европу. Эта книга, безусловно, изменит наше отношение к мемуарам, т. к. до этого с такой откровенностью, иронией и глубиной никто не писал о своей жизни, стране и нашей эпохе.

Содержание

«Поедьте в Англию...»	5
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Владимир Владимирович Познер
Прощание с иллюзиями.
«Поедемте в Англию...»

ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

«Поедемте в Англию...»

Два человека привили мне любовь к литературе. Первый – моя мама, она начала читать мне вслух, когда мне было два или три года. Первая книга, запомнившаяся в ее исполнении, – история о быке Фердинанде, который родился в Испании и должен был стать свирепым быком для корриды. Но Фердинанд больше всего любил сидеть в тени пробкового дерева и просто нюхать цветы. Сколько ни старались сделать из него быка-страшилу, ничего не получилось, и книга заканчивается словами: «Насколько мне известно, Фердинанд все еще сидит в тени своего любимого пробкового дерева и просто нюхает цветы». Книгу эту я обожал, она до сих пор стоит у меня на полке, занимая почетное место среди тысячи других...

Вторым человеком, привившим мне любовь к чтению, была библиотекарь «Сити энд Кантри», моей школы в Нью-Йорке, о ней я уже писал.

В детстве я не особенно любил поэзию, если не считать стихов «Матушки Гусыни» да книжек А. А. Милна (автора «Винни-Пуха») «Когда мы были очень маленькими» и «Теперь нам шесть». Я заинтересовался поэзией лет в семнадцать-восемнадцать, когда начал учиться по программе советской средней школы. Так я познакомился с Пушкиным и Лермонтовым, Тютчевым и Некрасовым, Баратынским и Фетом, да и со многими другими.

Мне повезло, что я стал читать их так поздно, уже имея возможность хотя бы приблизительно понять этих авторов – в отличие от тех учащихся, которые «проходили» их в четырнадцать-шестнадцать лет. Кроме того, я читал, не следуя никаким программам, читал так, как читалось, не впадая ни в дидактику, ни в политическое толкование, которыми отличалась да и продолжает грешить советская школа. Никто не внушал мне, что следует понимать «Медного всадника» так или этак, никто не предупреждал меня о том, что, читая Фета, я должен помнить, как жестоко он обращался со своими крепостными. Я просто читал и наслаждался прекрасной, величайшей поэзией.

Это первое знакомство с поэзией – в данном случае русской – возбудило мой аппетит и подготовило меня к встрече с поэзией английской, сыгравшей не очевидную, но решающую роль в моей жизни.

Как правило, вспоминая события, приведшие нас к тому или иному итогу, мы не можем восстановить их в первичной, строгой последовательности. Но в этом смысле мой случай представляет собой исключение... Я обожал Хемингуэя, особенно его рассказы, однако в то время еще не читал «По ком звонит колокол» (замечу, что этот роман долго не переводился на русский язык из-за того, что в нем Хем довольно жестко и безо всякой симпатии описал роль и действия коммунистов и, в частности, Михаила Кольцова, в испанской гражданской войне). Пока мы жили в Америке, я был еще мал для этой книги, в Германии она не попала мне на глаза, а вот в Москве, вскоре после нашего приезда, в замечательнейшем букинистическом магазине иностранных книг на улице Герцена (ныне Большая Никитская), я набрел на американское издание романа и впился в него, как клещ.

* * *

Магазина больше нет. Часто, проходя мимо того места, где он располагался и где вместо него сверкает витриной бутик модной одежды, я думаю о тех прохожих, для которых этой книжной лавки никогда и не было. Их мне почему-то жалко.

* * *

Открыв первую страницу, я увидел эпитафию – это была цитата из одной Медитации английского поэта шестнадцатого-семнадцатого веков Джона Донна, ставшего священником. «Человек – не *Остров*, достаточный сам по себе; каждый человек – кусок *Континента*, часть *Суши*; если *Море* смоеет *горсть* земли, *Европа* станет меньше, как и в случае, если бы это был *Мыс*, или *Жилище* друзей твоих, или *твое собственное*; *смерть* любого человека уменьшает меня, потому что я – часть *Человечества*; И поэтому никогда не посылай узнавать, по ком звонит *колокол*; Он звонит по *тебе*». Эти слова потрясли меня. Это были *мои* слова, это были *мои* мысли, Донн сказал то, что хотел сказать я, но *как* сказал!

Книжку я прочитал с огромным удовольствием (я и сегодня считаю, что это великий роман), но я все спрашивал себя: а кто же такой этот Джон Донн? За ответом я вновь отправился в букинистический, напротив Консерватории.

Это было удивительное место, сокровищница великолепнейших изданий иностранных книг; среди них встречались настоящие раритеты, вероятнее всего, конфискованные у арестованных «бывших», либо принесенные арбатскими старушками, которым каким-то чудом удалось выжить, несмотря на революцию и сталинский террор.

Милые старушки, выросшие в окружении французских бонн и английских воспитателей; трогательные старушечки, носившие потрепанные, но все еще утонченные платья давнего прошлого, отороченные у шеи и на запястьях белыми кружевами, и шляпки с вуалетками; старушечки, которые щебетали, словно птички в клетке; маленькие, ломкие старушки, вечно недоедавшие, копившие жалкие гроши и постепенно распродававшие все то, что осталось с «тех времен», в том числе замечательные книги. Их можно было купить за дешево, ими мало кто интересовался.

Помню, как я напал на полное собрание сочинений Шекспира в одном томе в великолепном кожаном переплете, и заплатил за него восемьдесят рублей – порядка десяти долларов в сегодняшнем исчислении. Там же я купил совершенно изумительный однотомник сочинений Байрона 1837 года с исключительными по красоте гравюрами. Стоил он пятьдесят рублей.

Магазином управляли две дамы – одна стояла за прилавком на первом этаже, другая оценивала книги, которые приносили на комиссию. С последней я общался редко. А дама с первого этажа была личностью выдающейся. Внешне она напоминала цыганку-волшебницу из какого-нибудь божественного сказания. Ее черные волосы, кое-где пронизанные седой, всегда были затянуты назад и завязаны в узел, что позволяло разглядеть ее довольно большие уши, неизменно украшенные гигантскими серьгами. Черные продолговатые глаза тонко обрисовывали две дуги бровей, которые шли, не прерываясь, от одного виска до другого – так дети рисуют чаек. У нее был крупный с горбинкой нос, столь же выразительный, сколь аристократический, и маленький с тонкими губами рот. Она свободно говорила по-французски; когда мы с мамой впервые забрели в ее царство и она услышала, что мы общаемся между собой на этом языке, то сразу выделила нам VIP-место среди клиентов. В те времена современные иностранные книги, особенно триллеры и детективы, были на вес золота.

Не будем забывать, что с точки зрения властей подобная «макулатура» представляла собой пример буржуазного декаданса, недостойного внимания строителя социализма. Такие книжонки не были запрещены, но вместе с тем их продажа не поощрялась. Поэтому они никогда не появлялись на прилавках, но когда хорошо знакомая клиентура приносила на продажу карманное издание Агаты Кристи или Эрла Стэнли Гарднера, дама второго этажа книжку принимала, ставила цену и тихо-тихо передавала ее даме первого этажа, а та уже

продавала ее из-под прилавка какому-либо хорошо знакомому клиенту за стандартную цену в пятьдесят рублей.

– Voulez-vous quelque chose d’interessant?¹ – говорила она мне низким, заговорщическим голосом, опускалась прилавком и выныривала оттуда, держа в руке полузапрещенное издание. – Regardez², – шептала она, скрывая книжку от чужих глаз, и быстрым движением обнажала обложку последнего романа крутого Микки Спиллейна.

В общем, именно здесь я нашел и купил роман Хемингуэя, и именно сюда я отправился в поисках Джона Донна...

Как описать то, что испытал я, когда впервые прочел... впрочем, нет, прежде чем продолжить, я вынужден сделать отступление.

Всякий перевод художественной литературы в конечном счете тщетен, но это особенно верно в отношении стихов. Начнем с того, что оригинал не стареет – язык меняется, но оригинал остается таким, каким родился. Язык, на котором писал Пушкин, сильно изменился, но никому не придет в голову переписать Пушкина «посовременнее». Перевод же неизменно и неизбежно устаревает. Невозможно сегодня читать переводы с французского или английского Щепкиной-Куперник, хотя в свое время они были очень хороши. По каким-то особым закономерностям язык перевода, в отличие от языка оригинала, устаревает, требует нового исполнения. Таким образом, получается, что человек, который ломал голову и мучительно находил соответствие оригиналу, делал это безо всякой надежды на то, что его перевод останется рядом с оригиналом на века.

Но это не все. Строй и музыку оригинала абсолютно невозможно повторить, передать в переводе – ведь это *другой* язык. В английском множество односложных слов, что придает языку энергию, лаконичность. В английском стихосложении чаще всего встречаются рифмы мужские с ударением на последнем слоге. В русском, напротив, односложных слов мало, чаще используется женская рифма – отсюда другая ритмика, другая музыка. Пример? Семьдесят четвертый сонет Шекспира. Возьмем первые четыре строчки оригинала:

*But be contented; when that fell arrest
Without all bail shall carry me away,
My life hath in this line some interest,
Which for memorial still with thee shall stay.*

Всего в этих стихах тридцать слов, из них двадцать три – односложные. Буквальный (не поэтический) перевод звучит так: «Но будь довольной; когда этот подлый арест Без выкупа меня унесет, Моя жизнь имеет в этой строке некоторый интерес, Который останется с тобой, как памятник».

Теперь прочтите эти строчки в переводе Самуила Яковлевича Маршака, одного из лучших переводчиков Шекспира, единственного, если мне не изменяет память, кто перевел все сто пятьдесят четыре сонета великого Барда:

*Когда меня отправят под арест,
Без выкупа, залога иль отсрочки,
Не камня глыба, не могильный крест –
Мне памятником будут эти строчки.*

¹ Хотите увидеть кое-что интересное? (франц.)

² Посмотрите (франц.).

У Маршака всего двадцать одно слово, но при этом лишь шесть односложных. У Шекспира все рифмы мужские, у Маршака – две мужские, две женские. Оригинал и перевод написаны ямбом, но только это их и роднит. Музыка английского языка звучит совершенно отлично от музыки русского. Перевод Маршака превосходен, но... Вот это «но» верно для любого перевода, тем более для того, который я хочу представить вашему вниманию.

Вернемся к моей цыганке-волшебнице, нашедшей для меня томик Джона Донна. Я открыл его и набрел на следующие строки:

*Busy old foole, unruly Sunny,
Why dost thou thus,
Through windowes, and through curtaines call on us?
Must to thy motions lovers seasons run?*

Дословно:

*Старый дурень деловой, непокорное Солнце,
Почему ты таким образом,
Сквозь окна и сквозь занавески навещаешь нас?
Должны ли времена любовников
следовать твоему ходу?*

В Донна я влюбился сразу и навсегда. Он привел меня к Шекспиру, к Чосеру, к Бену Джонсону, к Блейку и Баньону, к Худу, Муру, Китсу, Шелли и Байрону, наконец, к Йейтсу, к Эмили Дикинсон и Дилану Томасу.

Наступил момент, когда я понял окончательно и бесповоротно: биологом-ученым я не стану, и все мое свободное время стало уходить на переводы поэтов елизаветинского периода. Последние два года учебы были посвящены дипломной работе на тему «О дыхательном центре у костистых рыб». В течение долгих часов я вводил электроды в определенные участки мозга карпов и затем следил за вспышками на экране осциллографа, одновременно пытаясь найти русский эквивалент словам:

*Blasted with sighs, and surrounded with tears,
Hither I come to seek the spring,
And at mine eyes, and at mine eares,
Receive such balmes, as else cure everything.*

Дословно:

*Вздохами взорван, слезьми окружен,
Иду сюда искать ручей,
И своими глазами, и своими ушами
Получить такой бальзам,
что вылечивает все другое.*

За те два года я стал чрезвычайно популярен в общежитии биофака. Уж не знаю, скольких я извел карпов во имя науки, но многие мои сокурники рассчитывали на меня как на поставщика свежайшей и вкуснейшей рыбы, которой в магазинах не было никогда.



Катечке три года. Зима 1963 г.

Мою дипломную работу оценили на «отлично», и я даже получил предложение поступить в аспирантуру, но отказался, чем очень огорчил своих родителей.

По законам того времени меня ожидало распределение – своего рода трехлетняя отработка за пять лет бесплатной учебы, которую предоставляло государство. Закон, однако, диктовал одно, а реальность – другое. Часто случалось так, что вуз предлагал место, которого на самом деле не было, а выпускник соглашался, понимая при этом, что работать там не будет ни одного дня. Волки оставались сытыми и овцы целыми. Когда я отказался от аспирантуры, мне официально предложили место в институте научной и технической информации. Я подписал соответствующую бумагу лишь тогда, когда мне сообщили (разумеется, не официально), что на самом деле в Институте нет мест, – ведь я не собирался зарабатывать на жизнь переводами с русского на английский и, наоборот, научных статей о достижениях в биологии. Я выполнил все, что было предписано: дал письменное согласие на работу, полу-

чил письменный отказ от института и стал свободным – а заодно и одним из очень немногих безработных в Советском Союзе.



Она же. Лето того же года.

Тем не менее начал зарабатывать я именно переводами медицинских и биологических текстов с русского на английский – безо всякого удовольствия, правда. Но платили за это значительно больше, чем за переводы с английского на русский. Зарабатывать же было необходимо: к этому времени я был уже и мужем, и отцом. Я упоминал, что, учась на пятом курсе МГУ, женился на Валентине Чемберджи, студентке пятого курса классического отделения филологического факультета; спустя два года родилась наша дочь Катя. Как и подавляющее большинство молодоженов в стране социализма, мы не имели своего жилья и должны были сделать выбор между квартирой моих родителей или ее матери. Тридцать лет тому назад проблема жилья стояла столь же остро, как и сегодня. Меня всегда поражает, что серьезные люди в России удивляются большому у количеству разводов и пожимают плечами, если просишь их объяснить причины такой ситуации. Я не сомневаюсь, что именно квартирный вопрос фигурирует среди главных причин... Итак, я переехал в квартиру матери Валентины, Зары Александровны Левиной, известной талантливой пианистки и композитора.

Как описать Зару Левину? Я назвал бы ее явлением природы, своего рода Антеем, она, как и он, черпала свою силу из Земли, жила так, как ей подсказывало собственное нутро – и только. Ела, когда хотелось есть, спала, когда хотелось спать, и совершенно игнорировала так называемые общепринятые нормы и правила поведения. У нее были белые, крепкие зубы (не знаю, ставила ли она за жизнь хоть одну пломбу) и волосы, подобные львиной гриве – густые, блестящие, необыкновенно красивые. Она выглядела так, словно только что

вышла из самого модного салона красоты – при этом утром раза два проходила расческой по волосам. Она отличалась необыкновенной гибкостью, хотя и была в теле (ко всем диетам Зара Александровна относилась с плохо скрываемым презрением, равно как и ко всем «можно» и «нельзя») и двигалась легко и грациозно. Спотыкаясь или падая, что бывает со всеми, она почти никогда не ушибалась, не говоря о переломах, потому что падала так, как падают кошки или обученные каскадеры – не напрягая мышц, расслабленно. Она олицетворяла собой типичного рассеянного профессора. Так, например, могла засунуть свои очки в холодильник вместо масла, а потом провести большую часть дня в их поисках, тихо кляня недоброжелателей, которым нечего делать, кроме как прятать ее несчастные очки. Однажды в тот момент, когда она ела бутерброд, раздался телефонный звонок. Зара Александровна схватила трубку, приложила бутерброд с колбасой к уху и сказала: «Слушаю».

В ней сочеталось все. Она могла быть обворожительной и необыкновенно смешной, но могла быть и абсолютно невыносимой. Она была подозрительной, страстной, эгоцентричной, высокомерной, непредсказуемой, несправедливой; а также доброй, щедрой, преданной, открытой – словом, настоящий коктейль. Но прежде всего и главным образом она была талантливой. И именно благодаря ей, прочитавшей без моего ведома некоторые мои пробы пера в области перевода и передавшей их Самуилу Яковлевичу Маршаку, я познакомился с этим корифеем поэтического перевода и детской литературы.

* * *

Я проработал у Самуила Яковлевича два с половиной года и ни разу не слышал от него ни одного слова о том, что его первые поэтические опыты были связаны с увлечением сионизмом. Он мне рассказывал, что выдающийся русский критик В. В. Стасов познакомил его со Львом Толстым, что все тот же Стасов оказывал ему, еще совсем юному поэту, всяческую поддержку, но при этом не упомянул, что первое его опубликованное стихотворение, получившее горячее одобрение Стасова, называлось «Двадцатого Таммуза» и посвящалось смерти основоположника идей сионизма Теодора Герцля в 1904 году (Маршаку было семнадцать лет). Оказалось, что вплоть до 1920 года тема трагедии израильского народа являлась основной в творчестве поэта, а потом... А потом она исчезла. Не трудно догадаться, почему, учитывая разгул санкционированного антисемитизма в Советском Союзе и введение паспортов с пресловутым «пятым пунктом». Я даже не могу себе представить, что думал и чувствовал Маршак, когда развязали кампанию против «безродных космополитов» (читай: евреев), расстреляли всю головку Еврейского антифашистского комитета, затеяли дело врачей... Порой вспоминаю замечательные строчки из его стихотворения «Цирк»:

*По проволоке дама
Идет, как телеграмма.*

Какой же эквилибристикой должен был заниматься Самуил Яковлевич, чтобы ни разу и нигде ничего не написать о «главном друге детей» Сталине, но находить блестящие, на мой взгляд, патриотические слова:

*Бьемся отчаянно,
Рубимся здорово!
Дети Чапаева,
Внуки Суворова.*

Чем больше я думаю над его вынужденным молчанием о том, что, возможно, было ближе всего его сердцу, тем мне очевидней: Маршак – не просто выдающийся детский писатель, переводчик и поэт, Маршак – совершенно уникальная фигура, по сей день не в полной мере понятая и оцененная в собственной стране.

* * *

Маршак прославился прежде всего своими переводами из Роберта Бернса. Можно спорить о том, насколько эти переводы точны, насколько они близки к оригиналу. Но вот о чем спорить невозможно, так это о том, что только благодаря Маршаку Бернс стал русским поэтом, вернее, частью русской культуры. Помимо Бернса Самуил Яковлевич переводил и множество других поэтов, в том числе английских (Шекспира, Китса, Шелли, Блейка, Киплинга и т. д.). Маршак стал при жизни классиком, так что вы можете представить себе мое возбуждение, когда однажды у меня дома раздался телефонный звонок:

– Владимир Владимирович? – Голос был женский, старушечий, скрипучий.

– Да.

– Я звоню вам от Самуила Яковлевича Маршака. Он хочет, чтобы вы пришли к нему.

Я совершенно обалдел.

– Алло?! Вы слышите меня?

– Да, извините, а как вас зовут?

– Розалия Ивановна, хотя это не имеет значения. Так вы придете?..

Приду ли я на зов Маршака? Да все злые силы мира не смогли бы остановить меня!

Маршак жил на улице Качалова, напротив Курского вокзала. Дверь мне открыла та самая Розалия Ивановна, как я потом узнал, рижская немка, которой было хорошо за семьдесят и которая большую часть своей жизни служила Маршаку экономкой.

* * *

Я так и не узнал, каким образом эти два ни в чем не похожих друг на друга человека встретились, однако узнал вот что: Самуил Яковлевич спас Розалию Ивановну жизнь, когда началась война. Он каким-то образом вывез ее из Риги и устроил у себя в Москве.

* * *

Она никогда не улыбалась, была всегда и всем недовольна, но в особой степени была недовольна Самуилом Яковлевичем, о чем извещала желавших и не желавших слышать об этом своим высоким скрипучим голосом. Между ними установились отношения, которые по Фрейдю назывались бы «любовь/ненависть», но не имели даже оттенка отношений между мужчиной и женщиной. Розалия Ивановна являлась свидетелем всех его триумфов и бед – кончины жены, смерти от туберкулеза любимого младшего сына-математика, двадцатилетнего Яши. Она знала его насквозь и считала своим долгом быть его поводырем, чтобы он не сбился с пути истинного. По-моему, он был глубоко к ней привязан, но вместе с тем его страшно раздражали ее назидания и приставания. Оба они отличались вспыльчивостью, и я не раз становился свидетелем сцен вполне безобразных с оскорблениями и обзыванием. Бедная Розалия Ивановна безнадежно проигрывала ему в этих состязаниях. Она отдавала себе в этом отчет и поэтому упорно, точнее, с тевтонской последовательностью, повторяла одно и то же заклинание: «старый дурень». Она говорила эти слова вновь и вновь, а он отвечал ей творчески: «Мадам Прыг-Прыг», «Гитлер в юбке», «Недописанная трагедия Шекспира»...

Впрочем, все это я узнал позже. В тот же первый день, помню, меня потрясла библиотека Маршака. Я никогда не видал такого количества книг. Они были повсюду, занимали все стены от пола до потолка, стояли стопками на столах, царили, завоевав и подчинив себе пространство. Пока я глазел, из своего кабинета вышел мне навстречу Маршак. Я хорошо знал его по фотографиям, которые печатались в газетах и журналах, и ожидал увидеть довольно полного и крепкого мужчину среднего роста. Увидел же человека совсем маленького – не выше ста шестидесяти пяти сантиметров – и почти тщедушного. И на этом тщедушном теле восседала крупная львиная голова. Из-за толстых стекол очков меня внимательно разглядывали маленькие серо-зеленые глаза. Они смотрели с любопытством, но потом я узнал, что они могли быть и с хитринкой либо со смешинкой, а иногда даже полыхали гневом. Когда Самуил Яковлевич сердился, у него раздувались ноздри, и воздух выходил из них с таким свистом, что я ожидал увидеть вслед за этим пламя, как у настоящего дракона. У Маршака были необыкновенного размера уши – большие, в морщинках, как у слона. Мне казалось, что на ощупь они должны быть теплыми и шершавыми – не раз я хотел дотронуться до них, но так и не набрался смелости... Лицо его испещрили следы старости – оно и в самом деле напоминало мне морду слона. Мудрое, милое лицо.

Поздоровавшись со мной, Самуил Яковлевич сказал, что прочитал мои переводы, что у меня есть определенные способности, однако мне еще надо многому научиться, много потрудиться. И вот, сказал он, если я соглашусь стать его литературным секретарем (то есть отвечать на письма, которые он получал, по-английски и по-французски, а также записывать под диктовку его ответы на письма русские), то он готов позаниматься со мной, научить меня кое-чему и, если я окажусь того достоин, помочь мне напечататься. Я был в полном восторге и тут же согласился. Это была моя аспирантура в самой привилегированной школе мира. Я находился в постоянном контакте с культурным динозавром, с представителем вымирающего рода. Ведь детство и отрочество Маршака прошли в дореволюционной России. Его мальчишкой Стасов представил Льву Толстому. Он учился в Лондонском университете и, вернувшись, общался с иконами Серебряного века. Он пережил революции семнадцатого года, был свидетелем потрясений мира искусств и литературы, которые породили неслыханную череду великих писателей, драматургов, режиссеров театра и кино, художников и архитекторов. Первые два с половиной десятилетия русского двадцатого века напоминают ослепительный карнавал, и небеса над ним освещены невиданным по яркости фейерверком. Каждый огонек – фамилия, которую любая страна с гордостью приписала бы себе: Ахматова, Блок, Цветаева, Есенин, Маяковский, Сутин, Шагал, Кандинский, Петров-Водкин, Филонov, Серебрякова, Лисицкий, Татлин, Эйзенштейн, Вертов, Таиров, Мейерхольд, Вахтангов, Станиславский, Мандельштам, Зощенко, Булгаков, Прокофьев, Шостакович – бесконечный список гениев, поразивших мир своими открытиями. Кто знает, как и почему происходят такие извержения талантов? Отчего это случилось в Англии времен королевы Елизаветы? Что стало причиной Возрождения в Италии? Как объяснить золотой век Древней Греции? Из-за чего Рим оказался Римом? Какие закономерности привели к рождению великой литературы Франции? Мы не знаем этого и, даст бог, никогда знать не будем. Но какое же счастье – присутствовать при сем! И Маршак познал такое счастье.

Он же стал свидетелем уничтожения этого великолепия в сталинские годы, обезглавливания интеллектуального и художественного сообщества страны. Все это он видел, и память его хранила бесконечно много.

На самом деле Маршак был одинок. Он – трагическая личность другого времени, и происходящее могло восприниматься им лишь чувством омерзения. Свое одиночество он преодолевал, постоянно окружая себя людьми – редакторами, начинающими поэтами, подающими надежды переводчиками, журналистами. С одной стороны, он постоянно жаловался на то, что ему не дают покоя люди, которых не заботит его здоровье и почтенный возраст;

с другой, он делал все необходимое, чтобы не умолкал телефон и не прерывался поток посетителей. Стоило этому потоку замедлиться или уменьшиться, и он становился раздражительным, недовольным.

Самуил Яковлевич обожал рассказывать, а я был благодарным слушателем. Благодаря ему я прошел совершенно новый курс русской литературы и русской истории. Я начал перечитывать писателей, с которыми познакомился, еще когда готовился к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. Но теперь я читал иначе, заново открывая для себя Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Я также знакомился с литераторами, о которых прежде не слышал, с теми, чьи фамилии не встречались в учебниках, чьи книги были запрещены и хранились лишь в спецфондах библиотек. С точки зрения советского общества их не существовало. Однако среди них встречались писатели выдающиеся, такие как Булгаков, Платонов, Бабель и Зощенко. Были и менее значимые, но они помогли мне понять, что произошло в России в начале двадцатого века, составить представление о течениях, которые в конце концов привели к падению династии Романовых. Этих книг не продавали в магазинах, а для того, чтобы читать их в библиотеках, требовались особые разрешения. Но у Маршака они были.

Самуил Яковлевич являлся не только блестящим переводчиком и писателем, он был своего рода культурным магнитом, втягивавшим в свою орбиту совсем еще молодых Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину и прочих. Он близко дружил с Александром Трифоновичем Твардовским, которого считал великим поэтом. Занявший прочное место в пантеоне русской поэзии благодаря своему «Василию Теркину», Твардовский в те годы работал главным редактором журнала «Новый мир», где опубликовал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.

Как человек, родившийся и выросший не в России, человек, который постигал Россию и ее культуру не изнутри, не естественным путем, не как нечто само собою разумеющееся, а как явление, хотя и притягательное, но чужое, я много размышлял над тем, что есть «русскость»? Какое сочетание черт формирует русского? Или, скажем, грузина, француза, американца? Перечисление черт не приносит ровно никакого результата, поскольку оказывается, что они есть у всех. И тем не менее их вполне причудливое и, я бы даже сказал, таинственное переплетение дает в итоге то, что простым перечислением невозможно определить. Из всех знакомых мне литературных героев самый русский – Василий Теркин. Это мое субъективное восприятие, но это так. Он для меня гораздо более русский, чем такие сказочные и, следовательно, народные фигуры, как Иван-дурак, Илья Муромец и прочие. Теркин для меня вполне легендарен в смысле его обобщенного образа русского человека.

Твардовского открыл Маршак. Это было в тридцатых годах – деревенский парень со Смоленщины, в лаптях, пешком дошел до Москвы. Он явился к Маршаку, держа в одной руке завернутые в материнский платок продукты, а в другой – исписанную химическим карандашом ученическую тетрадку; пришел к Маршаку потому лишь, что с детства знал его фамилию, читал его книжки. Как поведал мне Самуил Яковлевич, он чуть не свалился со стула, когда начал читать «каракули» этого неотесанного мужика. Это были, по его словам, замечательные стихи, подобных которым он уже давно не встречал.

Маршак не мог наговориться, рассказывая о гениальной простоте поэзии Твардовского, о сочном народном языке, о его выразительности.

Чаще всего Самуил Яковлевич приводил в качестве примера вот эти строчки:

*Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –*

Ни приметы, ни следа.

И в самом деле, точнее не скажешь, за несколькими словами возникает целая картина. Просто? Да. И непереводаемо. Как, в частности, непереводаем Пушкин – не в том смысле, о котором я уже писал, а в своей простоте. Самое короткое расстояние между двумя точками – прямая линия. Ее не улучшишь, ее по-другому не изложишь. Я читал множество переводов Пушкина на английском языке, и не было ни одного, который хоть в чем-то напоминал его. Все слишком просто, слишком гениально. Сравниваю ли я Твардовского с Пушкиным? Нет, конечно. Но отношусь с презрением к снобам, которые смотрят на Твардовского свысока, считая его слишком доступным, недостаточно элитарным, понятным и без ученой степени. Смех, да и только! Самое великое искусство просто, как Эверест, как океан, как огонь. В простоте той – красота, мощь, бессмертие и непостижимая сложность.

Твардовский нередко заходил к Маршаку, и мне было позволено сидеть тихо в углу и слушать их беседы. Как и большинство советских людей, Александр Трифонович в свое время восхищался Сталиным и безмерно верил ему. Но в отличие от многих, он сам же подверг эту веру сомнениям. В результате родилась поразительная поэма «За далью даль». Самое первое чтение этой работы, еще в рукописи, состоялось в кабинете Самуила Яковлевича, и я имел счастье присутствовать при нем. Это лишь один из множества примеров того, какими уникальными были мои обстоятельства, благодаря которым я имел возможность непосредственно слышать и слушать литературу и рассуждения корифеев того времени.

Кроме того, мне позволялось находиться в «лаборатории» Маршака, в его кабинете, когда он писал. Я был свидетелем того, как он работал, как раз за разом правил, перечеркивал, начинал с начала и вновь перечеркивал. Писательство – дело трудное, это знают все, это, так сказать, общее место; но чтобы понять, насколько оно трудное, надо увидеть муки сидящего за столом. Маршак садился за стол в девять утра и выходил из-за него в девять вечера, он работал как одержимый, доводя себя до полного изнеможения в поисках точного слова, точной рифмы. Самуил Яковлевич уже был на литературном олимпе, ему не требовалось никому ничего доказывать, все, что он писал, печаталось без разговоров. Словом, он мог не стараться. А он трудился на пределе своих возможностей. Художник иначе не может, художник – это... Нет, я и пробовать не буду дать определение, тем более, что это уже сделано бесподобно и точно Уильямом Фолкнером:

«Говоря о художнике, я, конечно, подразумеваю всех тех, кто попытался создать нечто такое, чего до них не существовало, создать лишь с помощью тех инструментов и того материала, которые принадлежат человеческому духу и потому не продаваемы; тех, кто, неважно как, неумело, попытался вырезать на стене окончательного забвения языком духа человеческого: «Здесь был Вася».

Это, главным образом, и, как мне кажется, по сути дела и есть все, что мы когда-либо пытались сделать. И я полагаю, мы все согласимся с тем, что мы провалились. Что созданное нами не дотягивало и никогда не дотянет до формы, до идеальной мечты, которую мы получили в наследство, которая подгоняла нас и будет подгонять дальше, даже после каждого провала, до тех пор, пока мука нас отпустит и рука, наконец, упадет и замрет». Эта мука не была чужда Маршаку. Ему потребовалось двадцать лет, чтобы перевести сонеты Шекспира, но мне доподлинно известно: когда эта работа была опубликована и встречена восторженно критикой и читателями, он страдал от осознания того, что не «дотянул» до идеала.

Он был одинок. Потеря младшего сына оказалась невозполнимой, а отношения со старшим складывались не лучшим образом. Жена его, Софья, давно скончалась. Женщина, которую он любил, – как я понимал, любил очень давно, – была замужем. К моменту моего появления в доме Маршака у нее нашли рак. Нет ничего удивительного в том,

что в этих обстоятельствах Самуил Яковлевич нуждался в близком человеке, и волею судеб им стал я.

* * *

Речь идет о Тамаре Григорьевне Габбе, авторе, в частности, ставших классическими детских пьес «Волшебные кольца Альманзора» и «Город Мастеров». Время от времени она навещала Маршака, и я видел, как светлело его лицо, как блеск появлялся в его глазах. «Надо же, – думал я, – человек такой старый, а испытывает любовь». А ему тогда было меньше лет, чем мне сегодня...

* * *

Маршак всегда разговаривал со мной как с ровней, называл только по имени-отчеству, никогда не тыкал, понимая, что подчеркивал бы этим свое превосходство.

Он был заядлым курильщиком и, несмотря на слабые легкие, выкуривал две-три пачки сигарет в день. Нередко он болел воспалением легких и, как только поднималась температура, начинал бредить. Он всегда требовал, чтобы во время болезни я сидел около его постели – до сих пор не понимаю, почему он выбрал именно меня. Как-то, приходя в себя после очередного подъема температуры, Самуил Яковлевич посмотрел на меня печально и слабым голосом предложил:

– Эх, Владимир Владимирович, поедьте в Англию.

Мне, абсолютно невыездному, показалось, что он все еще бредит.

– Конечно, поедем, Самуил Яковлевич, – ответил я.

– Когда приедем, – абсолютно серьезно продолжал он, – мы купим конный выезд.

Я согласно кивнул.

– И вы, Владимир Владимирович, будете сидеть на козлах и привлекать всех красивых молодых женщин.

– Договорились, Самуил Яковлевич.

– Но внутри, – он взглянул на меня с хитрецей, – буду сидеть я, потому что вы, мой дорогой, совершенно не понимаете, как надо обращаться с красивыми женщинами!

Типичный Маршак.

Одновременно я корпел над своими переводами, иногда отдавая их на суд мастера. И вот однажды, прочитав несколько моих последних опусов, он сказал:

– Вот это можно печатать. Если хотите, могу кое-куда позвонить.

Я был вне себя от радости, но гордость взяла верх:

– Спасибо, Самуил Яковлевич, я сам. Главное то, что переводы вам понравились.

Гордость гордостью, но я был хитер и подл. Я перепечатал на машинке отмеченные Маршаком переводы (два из Донна, два из Блейка), а потом добавил к ним четыре маршаковских – разумеется, не из Роберта Бернса, бывшего у всех на слуху, а из Киплинга, Шелли, Китса и Браунинга. Вооружившись всем этим, я отправился в «Новый мир» к заведующей отделом поэзии. Меня там не знал решительно никто, я явился с улицы в самый престижный журнал страны с намерением опубликовать в нем свои труды. Заведующая отделом поэзии, женщина в литературных кругах известная главным образом потому, что муж ее был весьма «встроенным» литературным критиком, посмотрела на меня как солдат на вошь и сказала, что мои переводы не представляют интереса для журнала (и это не читая их). Я стал просить ее все-таки найти время, хоть одним глазком посмотреть на мою работу, и она, скорчив усталую и кислую гримасу, сказала, чтобы я оставил свою «писанину» и позвонил через неделю. Через неделю я вернулся в редакцию и спросил о ее впечатлениях.

– Серятина, – ответила она.

– Жаль, – вздохнул я. – Неужели ни один перевод из восьми вам не понравился?

– Нет, все это малоинтересно. И вообще, извините за прямоту, но вряд ли вам следует заниматься переводами.

– Ну что вы, – сказал я, – напротив, я вам очень признателен, даже не могу передать, как.

Она посмотрела на меня с удивлением:

– Я что-то не понимаю вас...

– Видите ли, – торжествуя, пояснил я, – вот эти четыре перевода, – я показал ей четыре листа бумаги, – принадлежат мне, а вот эти четыре, – я вытащил другие четыре страницы, – принадлежат Маршаку. И то, что вы не смогли различить мои переводы и переводы великого мастера, – это, знаете ли, огромный для меня комплимент.

Нужно ли описывать истерический скандал, который последовал за этим? Стоит ли говорить, что мои переводы никогда не публиковались в «Новом мире»?

* * *

Моей «благодетельницей» была Софья Григорьевна Караганова, жена известного тогда литературного и кинокритика Александра Васильевича Караганова.

* * *

На меня пожаловались Маршаку, который страшно возмутился и устроил мне головомойку, но при этом не смог удержаться от смеха.

– Я понимал, что я вас многому научил, – сказал он, и в его серо-зеленых глазах заиграла смешинка, – но не знал, что вы научились переводить не хуже меня.

Переводчик художественной литературы, переводчик поэзии – творец, да не совсем. Он зажигается от искры, но не высекает ее. Он заранее знает, что не дотянет, что потерпит поражение. Он понимает: то, что поэтическая вольность позволяет на одном языке, совершенно недопустимо на другом. Вот пример из Уильяма Блейка:

*Tiger! Tiger! Burning bright
In the forests of the night.*

Присмотритесь к этому образу:

*Тигр! Тигр! Ярко горящий
В лесах ночи.*

Я вас спрашиваю, может ли тигр ярко гореть? Разве не хочется обратиться к Уильяму Блейку: «Слушай, Билл, может, ты перебрал вчера? Ты вообще-то соображаешь, что, во-первых, в Англии нет тигров, и во-вторых, тигры не горят?» Но вся беда в том, что у Блейка тигр горит, таково волшебство его языка, и когда читаешь по-английски, это не вызывает никакого удивления, напротив, только восторг. Но как же передать это по-русски? Оставим в стороне рифму и размер, бог с ними, просто подскажите ради всего святого, как же перевести на русский «Тигр! Тигр! Ярко горящий», чтобы не казаться полным идиотом? Способ существует один-единственный: нужно суметь пропустить образ оригинала через призму другого языка – то, что выйдет, будет выглядеть иначе, но если это сделано мастером, позволит почувствовать силу оригинала:

*Тигр! Тигр! Светло горящий
В темноте полночной чащи.*

Перевод Маршака

Конечно, тигр не горит, горят холодным светлым огнем *его глаза*, и горят они оттого ярче и страшнее, что он, тигр, затаился в полночь в густой лесной чаще...

Братся за перевод – значит принять вызов. И если ты любишь язык, то вызов в том заключается прежде всего, чтобы предоставить читателю возможность полакомиться совершенно новым блюдом. Вызов замечательный и сводящий с ума – в буквальном смысле слова. Я знаю об одном переводчике Фолкнера, который лишился рассудка и был отправлен в психиатрическую клинику: ему не удавалось, как он считал, достойным образом передать слог великого американского писателя на русском языке. Фолкнер, как вы знаете, писал прозу. Попытка же переводить стихи – это свидетельство и отваги, и любви, достойное благодарной памяти. Эдуарду Фицджеральду, одарившему Англию своим блестящим переводом рубаи-тов Омара Хаяма, поставили в Лондоне памятник. Он, совершивший литературный подвиг, вполне это заслужил.

Мое сближение с литературным миром причудливым образом усилило мой интерес к миру окружающему. В тот период, казалось, возрождалось советское общество. Все началось с выступления Никиты Сергеевича Хрущева на XX съезде КПСС, с разоблачения культа личности И. В. Сталина. Думалось, только этого и ждала страна, чтобы рвануться вперед, вырваться из сковавших ее идеологических пут. Поднялась мощная волна новых писателей, поэтов, художников, кино- и театральные режиссеров, композиторов, хотя, конечно, это было несравнимо с ситуацией начала XX века. То было время надежд, время, породившее знаменитых «шестидесятников», людей, веривших в идеалы социализма и коммунизма, идеалистов, но не фанатиков, не безумцев; это было время, когда верилось: вот-вот наступит та замечательная жизнь, о которой мечтали наши отцы и деды, вот она, за углом, осталось сделать лишь несколько шагов. Впрочем, это было время противоречивое. Я помню Маршака, возмущенного преследованиями никому тогда не известного поэта Иосифа Бродского. Самуил Яковлевич категорически не соглашался с теми, кто утверждал: коль Бродский не член Союза писателей СССР, то он не может считаться профессиональным поэтом и, следовательно, является тунеядцем, поскольку нигде не работает. Вообще-то, Бродский зарабатывал тогда на жизнь переводами, но преследовавшие его власти отказывались признавать, что это работа (нет трудовой книжки, значит, не работает – и точка). Преследовали Бродского за то, о чем он писал, за его мысли, а потому и не существовало защиты, не действовала логика, не было приемлемых аргументов. Чем это кончилось, все помнят: страна потеряла Бродского, потеряла его точно так же, как сонм блестящих художников, ученых, писателей, которым было невмозмуту дальше жить в этом удушливом государстве, провозгласившем, что «искусство должно быть понятно народу» (лозунг был приписан Розе Люксембург, которая на самом деле сказала, что «искусство должно быть *понято* народом»). Должно быть *понято*, а не *понятно*).

Вместе с тем это был период так называемой «оттепели». Он был отмечен романом Дудинцева «Не хлебом единым» (ныне он забыт, но тогда его воспринимали как манифест, им зачитывались все), «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына, поэмами Твардовского, публикациями возглавляемого им журнала «Новый мир», рождением Театра на Таганке под руководством Юрия Петровича Любимова и, разумеется, ныне тоже забытой книгой Ильи Эренбурга «Оттепель», давшей этому времени свое название. Однако тогда же было потоплено в крови венгерское восстание, десять лет лагерей получила группа Краснопевцева за то, что они, студенты исторического факультета МГУ, стали выпускать под-

польную газету, в которой критиковали основы советской системы; тогда же родилось слово «диссидент» и состоялся первый суд – вернее, судилище – над диссидентами Синявским и Даниелем. Да, время было противоречивое, но атмосфера наполнилась надеждами и ожиданиями, великими свершениями. В те годы я впервые (и в последний раз) стал свидетелем спонтанных изъятий воли тысяч и тысяч людей, вышедших на демонстрации самостоятельно, чтобы выразить свой восторг, свою поддержку чему-либо. Мне, правда, говорили, что подобные массовые волеизъявления были вполне обычными в сталинское время, что Первого мая и Седьмого ноября сотни тысяч москвичей шли торжественным маршем через Красную площадь, чтобы собственными глазами увидеть «великого Сталина». Может быть. После его смерти парады стали пустой формальностью.

Дважды я принимал участие в таких парадах. Первый раз, когда еще был студентом биофака, второй – через много лет, уже работая в Гостелерадио СССР. В обоих случаях меня назначили правофланговым, то есть тем человеком, который проходит в шеренге ближе всего к Мавзолею. Правофланговый смотрит прямо вперед, все остальные равняются по нему, от него зависит, как будет выглядеть шеренга. Словом, быть правофланговым – своего рода честь. Кроме того, положено проходить некоторую подготовку, которая совершенно не имеет отношение к строевой. В частности, когда я готовился к участию в последнем в моей жизни параде (насчет последнего – это я заявляю твердо), меня пригласили на партийное собрание «для правофланговых». Каждому из нас вручили лозунг, который надо было запомнить и потом, проходя перед трибунами на Красной площади, проорать во все горло, после чего «твоя» шеренга должна взречь «УуууууууРРРРРааааааа!» Эти лозунги отличались предельной тупостью, для нормального человека произносить такие вещи – уж не говорю кричать – просто оскорбительно. Я, например, получил лозунг «Да здравствуют советские женщины!». Я сказал, что орать такую белиберду отказываюсь. После недолгого спора парткомовец отстал от меня, рассудив, что в общем реве Красной площади никто не заметит, кричу я со всеми или нет.

Кроме того, всем нам вручили ветки искусственных цветов, коими мы должны были ритмично махать... но осторожно. Почему осторожно? А потому, что они скреплены какими-то пластмассовыми защипками. В прежние годы цветы держались на довольно толстой металлической проволоке, но один бдительный товарищ решил, что они могут быть использованы как колющее оружие. Против кого? – все задавался я вопросом. Ответ я получил во время самого парада. По мере того как наша колонна приближалась к Красной площади, вдоль улиц скапливалось все больше и больше «искусствоведов в штатском», а на самой площади их было, как мне казалось, столько же, сколько демонстрантов. Они стояли ровными рядами, разделяя площадь вдоль коридорами, по которым мы шли; они следили за нами, как ястребы, никому не давали останавливаться, держа под контролем каждый жест, каждый взмах руки. Они охраняли от нас руководителей партии и государства, стоявших на трибуне Мавзолея. Это было омерзительно. Ничего менее спонтанного и искреннего я не видел ни до, ни после.

Но во время «оттепели» все было иначе. В 1957 году состоялся запуск первого спутника Земли, а в октябре 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, взмывшим в космос. Как только сообщили о Гагарине, столица сошла с ума. Тысячи людей высыпали из домов и учреждений, они пели, плясали, обнимались и целовались, шли шеренгами по десять человек, взяв друг друга под руки, и от радости хохотали в голос и плакали. Вот это была спонтанность! То же самое случилось чуть позже, 9 мая 1965 года, когда праздновали двадцатилетие Победы над германским фашизмом. О своих соображениях по поводу этого двадцатилетнего перерыва я уже писал и не буду повторяться, но хочу сказать, что каждый раз, думая об этом, я вспоминаю фильм «Белорусский вокзал», в котором режиссер Андрей Смирнов сумел необыкновенно тонко показать, что война – страшная, кровавая, бесчеловечная – была

мигом наивысшего самовыражения и даже счастья советских солдат, а последовавшее за нею время – периодом тяжелым, безрадостным, а порой трагическим. Так или иначе, это был первый за двадцать лет праздник Победы, люди выходили на улицы, заполняли московские скверы, площади, парки, бульвары – поразительное и трогательное зрелище. Мне никогда не забыть их, ветеранов Великой Отечественной, как они собирались группками перед Большим театром, держа в руках плакаты с названиями военных подразделений, с фамилиями тех, с кем когда-то воевали плечом к плечу. Они стояли строго, почти торжественно, ожидая чуда: что появятся их фронтовые товарищи, что как-то кто-то хоть немного успокоит их ноющие раны. Нет у меня слов, не такой я писатель, чтобы суметь передать, что я увидел, что почувствовал. Но за тот один день я понял больше о том, как в Советском Союзе люди относятся к войне и к миру, чем за все предыдущие и последовавшие годы.

Это были противоречивые времена, за ними стоял Хрущев – противоречивый человек. С одной стороны, им двигали определенные демократические импульсы; он не был лишен принципиальности и мужества – требовалась приличная порция и того, и другого, чтобы, вопреки болышинству Политбюро, выступить с разоблачениями сталинских зверств. Вместе с тем Хрущев являлся продуктом своего времени и сам измазал руки в крови по самые локти; порвать с той системой, которая вознесла его к власти, он не мог так же, как ящерица не может порвать со своим хвостом – взамен старого вырастает новый.

Хрущев был своего рода самородком, хитрым, далеко не глупым, но при этом малообразованным и совершенно не утонченным человеком, как и все партийные лидеры, правящие страной после Ленина и вплоть до появления Горбачева. Никита Сергеевич не терпел возражений, был вспыльчив и падок на лесть, чем безбожно пользовалось его окружение. При всей своей хитрости он довольно легко «заводился». Один из самых ярких примеров этого – печально известная выставка в Манеже, посвященная годовщине МОСХа. Среди представленных произведений было довольно много картин абстрактных, не предметных; руководство Союза художников, верные последователи социалистического реализма, долго готовили Хрущева к открытию выставки, понимая, что молодая и талантливая поросль художников всерьез угрожает их благополучию. И Хрущев, увидев абстрактные работы, взбесился. Он и в самом деле ничего не смыслил в искусстве и считал, что если нарисовано «похоже», значит, это здорово, если же не похоже – то мазня. Генеральный секретарь ЦК КПСС разорался так, что чуть не лопнул, причем главным объектом своего гнева выбрал того, кто совершенно его не испугался и на грубости в свой адрес отвечал не меньшими грубостями. Речь идет об Эрнсте Неизвестном, замечательном скульпторе, художнике, мыслителе, человеке, на которого дважды во время войны присылали похоронки, человеку, одним словом, не боявшемуся ни Бога, ни черта. Хрущев орал, что тот – педераст, а Неизвестный кричал, что Хрущев – тупица. Много лет спустя, уже отойдя от власти, Никита Сергеевич признал, что был не прав, и попросил Неизвестного сделать памятник на его могиле, когда он умрет. Неизвестный выполнил просьбу того, кто фактически вынудил его покинуть Россию и эмигрировать в Америку. Если вы посетите Новодевичье кладбище, найдите могилу Хрущева: вы увидите могильную плиту, наполовину белую, наполовину черную, а в нише – цвета темного золота скульптурное изображение головы Никиты Сергеевича. Смеющегося. Непонятно, над чем он смеется, хотя мне кажется, что над собой.

* * *

О манере Никиты Сергеевича разговаривать лучше всего свидетельствует анекдот того времени:

Правительственная делегация СССР приехала в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. На ней должен выступить Хрущев. Накануне выступления, вечером, Хру-

щев ужинает со своим зятем Алексем Ивановичем Аджубеем, главным редактором газеты «Известия».

– Алеша, – говорит он, – завтра мое выступление, хочу, чтобы ты посмотрел мою речь. За завтраком скажешь свое мнение.

Утром они вновь встречаются.

– Ну, как тебе моя речь? – спрашивает Хрущев.

– Никита Сергеевич, – отвечает Аджубей, – речь гениальная. Только два мелких замечания: «в жопу» пишется раздельно, а «насрать» – слитно.

* * *

Хрущев был типичным «человеком из народа», он и пахал, и уголь добывал, он с юности поверил в идеи коммунизма и воевал за них отчаянно, не щадя ни себя, ни других. Ни для чего другого у него не было ни времени, ни подготовки. Приведите такого человека в художественную галерею, подведите его к картине, на которой изображена черная точка на белом фоне, и скажите ему, что картина называется «Лошадь, жующая сено». Он ведь жил в деревне, знает, как выглядит лошадь и что такое сено, он видел, как околевали лошади и умирали от голода люди, потому что не было сена. Он хлебнул этой жизни по самые помидоры, но ничего не смыслил в искусстве, и если он повернется к вам и скажет: «Нечего дурачить меня, вы – сраные шарлатаны», если он взорвется и понесет вас, а заодно всех остальных, по кочкам, густо пересыпая свою речь матом, этому не следует удивляться. Его реакция не только искренна – она предсказуема. Именно ее ждали от него те, кто так тщательно готовил его к этому дню.

План сработал на все сто. Когда Хрущев объявил всю беспредметную живопись «говном», соцреалисты получили то, на что рассчитывали: Союз художников, а заодно и все другие творческие союзы захлопнули двери перед целым поколением наиболее талантливых людей. Их работы было запрещено выставлять, исполнять, печатать. Они оказались изолированными от общества, стали внутренними эмигрантами. Удивительно ли, что как только эмиграция стала возможной, они среди первых покинули свою советскую родину?

Хрущев был типическим явлением своего времени, как и те, кого он выдвигал на руководящие должности. Министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева, кажется, в прошлом была ткачихой. Сегодня некоторые вспоминают о ней с долей ностальгии, но, как мне кажется, только потому, что люди, пришедшие ей на смену, понимают в культуре еще меньше, чем понимала она. Ткачиха – министр культуры – это нонсенс, издевка, особенно в отношении России, страны уникальной по культурному богатству. Именно во времена Фурцевой родился анекдот о том, как в Праге на приеме представляют главе советской делегации министра военно-морского флота ЧССР. «Прошу прощения, – говорит советский гость, – но как может Чехословакия иметь военно-морского министра, если не имеет при этом выходов к морю?» «Но ведь у Советского Союза есть же министр культуры?» – следует любезный ответ». Конечно, анекдот не корректный, потому что у России, в том числе советской, культура была. И все же...

После захвата власти большевиками в ноябре 1917 года первое советское правительство приняло целый ряд решений, направленных на то, чтобы искусство стало доступным широким народным массам. Надо признать, что этот подход принципиально отличался от царистской и буржуазной традиции, согласно которым искусство считалось областью, доступной лишь элите – интеллектуальной и финансовой (этот взгляд продолжает исповедоваться на Западе и сегодня).

Можно как угодно относиться к первому министру культуры Советского Союза Анатолию Луначарскому, но нельзя отказать ему в исключительной эрудиции. Нет сомне-

ний, что он сыграл ключевую роль в поддержке всякого рода экспериментов, которыми изобиловало искусство тех лет. Другое дело, что по мере укрепления власти большевиков и самого Сталина, по мере того, как культурный авангард либо покидал страну, либо подвергался репрессиям, советская политика в области культуры стала выполнять иную функцию и потребовала иных руководителей. Луначарский пытался приспособиться к новым временам, но тщетно. После него культуру возглавили комиссары, люди, совершенно лишённые даже самых приблизительных представлений о том предмете, который был поручен их руководству. Они безграмотно говорили по-русски, не имели образования, если и прочли какие-то книжки, то скорее всего не более двух-трех (включая сталинский «Краткий курс истории ВКП/б»); в артистических кругах над ними смеялись, но это был смех сквозь слезы – ведь именно их наделили властью, от них зависело благополучие каждого, кто трудился на ниве культуры.

Среди них Фурцева была не худшим человеком, чуть более деликатным и склонным выслушивать людей, чем большинство советских руководителей. Но этим, пожалуй, можно ограничиться, оценивая ее как министра культуры. Она, например, была убеждена, что на смену профессиональному искусству придет художественная самодеятельность, о чем и говорила неоднократно. Однажды Борис Николаевич Ливанов, народный артист СССР и один из столпов МХАТа, публично спросил ее:

– Екатерина Алексеевна, если бы вам пришлось сделать аборт, вы пошли бы к гинекологу-профессионалу или к врачу самодеятельному?

Последовал гигантский скандал – не только потому, что ее публично унизили, но и потому, что Фурцева, как большинство так называемых «простых людей», была ханжой и прилюдное произнесение слова «аборт» считала верхом неприличия. Как правило, однако, «простым людям» не поручают судьбу культуры страны. Когда же поручают, как это было в СССР, происходят вещи предельно нелепые. Например, во время Московского международного кинофестиваля 1961 года был представлен английский фильм «Такова спортивная жизнь». В одной сцене герой фильма, сыгранный замечательным актером Альбертом Финни, узнает от своей девушки, что она беременна.

– Ты с чего это взяла? – спрашивает он. И она отвечает:

– У меня не было месячных.

Когда синхронист перевел эти слова, то сидевшая в ложе почетных гостей Фурцева устроила форменную истерику. Говорить с экрана о «месячных»? Да это настоящая порнография! Типичная реакция человека, только что вышедшего из лицемерной атмосферы крестьянской общины, где можно делать все что угодно, лишь бы не видели, не знали, не говорили.

Ханжество такого рода вообще характерно для различного рода русских шовинистических и националистических организаций, например типа «Памяти», чьи идеалы и устремления якобы восходят к «чистому роднику русской духовности». Эти господа отличаются звериным антисемитизмом, патологической нелюбовью ко всему Западу (это не касается автомобилей и прочих «мелочей жизни», которыми они охотно пользуются) и регулярно поносят телевидение за то, что оно позволяет себе показывать отдельные части обнаженного женского или мужского тела. Фильмы, содержащие сексуальные сцены, равно как и книги, их описывающие, должны быть, с точки зрения «Памяти», сожжены, а конкурсы красоты – запрещены... Словом, аятолла Хомейни приветствовал бы подобную организацию (если бы она только не выдавала себя за истинно православную), но если говорить серьезно, у «Памяти», как и у аятоллы, есть поклонники.

Возвращаясь к Фурцевой, – она годилась для управления культурой в России в такой же мере, в какой я гожусь на то, чтобы возглавить Министерство атомной энергетики. И я искренне не знаю, от кого из нас в конечном счете страна пострадала бы больше...

Противоречивость личности Хрущева проявилась особенно выпукло в деле Бориса Пастернака, когда того исключили из Союза советских писателей за позволение опубликовать роман «Доктор Живаго» в Италии. Многие не помнят о том, что роман должен был появиться в журнале «Новый мир», но главный редактор журнала Константин Симонов попросил Пастернака внести в рукопись некоторые коррективы. Из-за этого, в частности, журнальная публикация задержалась. Тем временем право издания рукописи за рубежом приобрело издательство Фельтринелли, согласившееся выпустить итальянский перевод сразу же после публикации в «Новом мире». Но когда появление романа в журнале стало откладываться, Фельтринелли не захотел больше ждать и опубликовал его в Италии. И конечно, последовала буря негодования. То, что на Западе роман приняли как своего рода антисоветский манифест, усугубило дело. Но у меня нет ни малейших сомнений в том, что бурная реакция Хрущева и последовавшая за ней подлая кампания травли Пастернака в советской прессе – результат таких же интриг, которые возбудили гнев Хрущева на выставке в Манеже в 1961 году. Вся история с Пастернаком не только нанесла урон советской литературе и искусству, но была использована на все сто процентов на Западе – это стало козырным тузом в холодной войне, той самой непобиваемой картой, о которой мечтал антисоветский эстаблишмент. И карту эту подарили сам Хрущев и советские, с позволения сказать, журналисты-пропагандисты.

* * *

Меня всегда поражала способность российских властей принимать решения, наносящие урон образу России и русских в мире. Представьте себе, что советское руководство никак не отреагировало бы на выход книги Пастернака: вышла книга – и вышла. Что последовало бы? Скорее всего, оживленное обсуждение на тему «изменившихся обстоятельств», «либерализации» в СССР (т. е. ничего плохого), да и все. Я даже допускаю, что Борису Леонидовичу не дали бы Нобелевской премии – не потому, что он был ее недостоин, а потому, что тогда она носила явно политический характер. Кстати, о премии в области литературы... Она была основана в 1901 году. Но ни Антон Павлович Чехов, умерший в 1904 году, ни Лев Николаевич Толстой, проживший до 1910 года (посмертно «Нобеля» не дают), не стали лауреатами...

Так нет же, решили наказать Пастернака, а на деле сами обделались с ног до головы в глазах мира. Российские власти с завидным постоянством наступают на одни и те же грабли – что тогда, полвека назад, что сегодня. И убеждаясь, что «имидж России» как-то непривлекателен, тратят уйму усилий и денег на создание центров, призванных этот имидж улучшить. Таким было Центральное радиовещание на зарубежные страны, таким было агентство печати «Новости», такой сегодня является телевизионная компания «Russia Today». Как же не понимают идеологи подобных пропагандистских контор, что если средства массовой информации во всем мире рисуют негативную картину России, то своим СМИ местное население поверит гораздо больше, чем какому-то «Голосу России»? Да и вообще, если хочешь, чтобы твой «имидж» вызывал симпатию, лучше внимательно посмотри на себя в зеркало и сделай правильные выводы.

* * *

В какой-то степени вся эта история напоминает мне то, что я читал (сначала в американском журнале Time, а потом в советской печати) о суде над Синявским и Даниелем. Речь идет о разговоре, который состоялся между Евгением Евтушенко и Робертом Кеннеди

во время приема в Нью-Йорке. В какой-то момент Кеннеди подошел к Евтушенко и повел его в ванную комнату, где пустил душ, чтобы никакой «жучок» не смог записать их разговор. Потом Кеннеди рассказал Евтушенко, что суд над Синявским и Даниелем был результатом сговора между ЦРУ и КГБ, и имел этот сговор отношение к след у ющем у: в течение нескольких их предыдущих лет в американских литературных журналах регулярно появлялись рассказы некоего Абрама Терца, советского писателя-диссидента. Как ни старался КГБ обнаружить фамилию того, кто прячется за этим псевдонимом, не удавалось. ЦРУ, располагавшее этой информацией, специально для КГБ устроило утечку, в результате которой Терца-Синявского арестовали. Безумие? Да не совсем. К этому времени в Америке маккартизм ушел в прошлое, антисоветская истерия поутихла, американцам порядком поднадоело слушать заявления о «коммунистической угрозе», их больше начало беспокоить происходящее во Вьетнаме. Надо было каким-то образом повлиять на общественное мнение, повернуть его в нужное русло, и план нашелся дьявольски удачный: подтолкнуть Советский Союз к тому, чтобы власти повели свою «охоту за ведьмами», то есть чтобы возник советский маккартизм, который вызвал бы возмущение американского народа. И все сложилось как нельзя лучше. Правда, журнал «Тайм», получивший эту информацию от Евтушенко, усомнился в ее достоверности. К этому времени Роберта Кеннеди убили, но жив был его переводчик, участвовавший в тайной беседе в ванной комнате. Журнал разыскал его, и он подтвердил подлинность рассказа. Я, читая об этом событии, тоже сомневался, но у меня нет и серьезных оснований опровергать его. Для меня КГБ и ЦРУ одинаково подлы.

История с Пастернаком пахнет той же мерзостью.

подавляющее большинство моих московских знакомых были в ужасе от того, что сотворила с ним власть. Его исключили из Союза советских писателей, – и проголосовавшие за это навеки покрыли себя позором. К тому же выход Пастернака из этого Союза почти комичен. Сброд лизоблюдов, чьи фамилии и чью писанину не будет помнить никто, выгнал из своих рядов великого поэта! Блоха «стряхнула» с себя собаку.

– Нашлись писатели, выступившие в защиту Пастернака – и при этом подвергшие себя немалому риску. Среди них был Илья Эренбург, который и сам отличался противоречивостью характера, но к концу жизни попытался искупить свое просталинское прошлое. Эренбург, весьма эрудированный блестящий оратор, не имел равных себе в дискуссиях. Я был свидетелем того, как в Библиотеке иностранной литературы проходили дебаты между ним и известным тогда советским критиком Тamarой Мотылевой. Тема – значение французского импрессионизма. В те годы исповедовался лишь метод социалистического реализма (термин уже забытый, наряду с целым ворохом абракадабры сталинского периода), от которого импрессионизм был весьма далек. Лучшие коллекции предметов изобразительного искусства, принадлежащих этому течению, хранились тогда в ленинградском Эрмитаже и московском Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, но никогда не выставлялись. Сегодня, наслаждаясь работами, купленными Морозовым, Щукиным, Мамонтовым и другими русскими предпринимателями и меценатами, имевшими поразительное чутье на подлинное искусство, мы только диву даемся: как советская власть могла прятать эти картины от глаз населения, о котором якобы заботилась? Эренбург, проживший долгие годы во Франции и друживший с Модильяни, Браком, Шагалом, Леже, Пикассо, великолепно разбирался и в импрессионизме, и в живописи вообще. Дебаты превратились в полнейший разгром Мотылевой, а публика аплодировала как сумасшедшая. Я помню громовый смех, последовавший за предложением Мотылевой доказать, что Дега – более крупный художник, чем Решетников. Эренбург бросил на нее взгляд, полный презрения, и парировал: «Позвольте мне процитировать Чехова, который как-то сказал: «Невозможно доказать, что Пушкин лучше Златовратского...»



Моя первая лекция во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы (ВГБИЛ), ныне названной в честь Маргариты Ивановны Рудомино. 1959 г.

Библиотека иностранной литературы являлась своего рода оазисом в литературной пустыне. Здесь можно было найти не только современную литературу зарубежных стран, но и кассеты с песнями разных стран и народов, записи поэзии в исполнении иностранных актеров... Наконец, в залах библиотеки проводились на соответствующих языках ежемесячные семинары «Новинки американской (английской, немецкой, французской) литературы». Эти семинары вели чаще всего критики, специалисты. Исключение составляла американская тематика – почему-то по ней не было тогда специалистов (речь идет о конце пятидесятых – начале шестидесятых годов). От друзей отца мне, как члену «Клуба книги месяца», достался трехлетний абонемент, и я получал свежие издания прямо из США, благодаря чему был, в общем-то, в курсе всего, что происходило *там* в области литературы. Как ни странно, цензура ни разу ничего не изъяла из моих заказов, если не считать двух случаев: в первом конфисковали подарочное издание Библии с иллюстрациями Рембрандта, во втором – великолепную работу журналиста Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего рейха», лучшую, на мой взгляд, книгу о приходе к власти Гитлера и о падении его режима. Книга еще ждет своего перевода на русский язык.

* * *

К счастью, книга переведена. Рекомендую ее всем, кто не читал и кто интересуется историей возникновения и установления нацизма в Германии, равно как и его падением.

* * *

Я совершенно не помню, при каких обстоятельствах встретился с директором библиотеки Маргаритой Ивановной Рудомино, чтобы предложить ей свои услуги в качестве ведущего ежемесячного семинара по новинкам американской литературы – вполне возможно, мне в этом помог Маршак. Но так или иначе встреча состоялась, и она немедленно приняла мое предложение. Я поблагодарил ее и сказал, что есть одно условие, без выполнения

которого буду вынужден отказаться, а именно: я хочу читать лекции бесплатно. Посмотрев на меня, скорее с любопытством, нежели с удивлением, Маргарита Ивановна поинтересовалась причиной такого требования.

– Видите ли, – пояснил я, – если я соглашаюсь на оплату, это означает, что я принимаю ваши правила и должен выполнять их. Если же денег не возьму – я сам себе хозяин и могу говорить что хочу.



Там же. На меня ходили, как на тенора. Отчасти потому, что «пел» я на чистом американском

Маргарита Ивановна Рудомино была человеком выдающимся, Библиотека иностранной литературы, которая ныне носит ее фамилию, была создана ею и сохранена благодаря ее подвижнической работе. Она все знала, все понимала. Я плохо помню, как она выглядела: кажется, довольно высокого роста, с уже седыми волосами, зачесанными вверх наподобие короны... Лицо доброе, чудесная улыбка. И вот, услышав мои доводы, она улыбнулась и совершенно серьезно, без тени иронии, приняла мои условия, но в обмен выдвинула одно свое: через год мы вернемся к этому вопросу, и если у меня не будет оснований для возражений, мне начнут платить. Я согласился.

Вспоминая этот эпизод, я мысленно краснею. Может ли двадцатипятилетний человек быть таким наивным? То, что Маргарита Ивановна не рассмеялась мне в лицо и не выставила за дверь, говорит об удивительной терпимости и мудрости этой женщины.

Я начал читать лекции – и сразу стал пользоваться необыкновенной популярностью, на мои семинары буквально ломились. Отчасти это объясняется тем, что я говорил на чистом американском варианте английского языка – в те годы в Москве такое редко встречалось (по сей день в советских вузах студентов учат «королевскому» английскому языку, хотя большинство желает говорить так, как говорят в Америке, вопреки взглядам незабвенного профессора Генри Хиггинса). Наверное, причина еще и в том, что мои высказывания отличались от привычных, я не разбирал авторов и их произведения с классовых позиций. Наконец – и, возможно, это было главное – я обсуждал книги, не доступные рядовому читателю,

книги, которые держались в так называемом спецхране, книги хотя и не антисоветские, но с точки зрения Главлита (цензуры) не подходящие для советского читателя. Например, роман писателя второго разряда Леона Юриса «Исход» – о том, как возникло и строилось государство Израиль. Конечно, нарушая правила спецхрана, я мог навлечь на себя неприятности. Помню, как одна из сотрудниц библиотеки потребовала от меня, чтобы я не обсуждал на своих лекциях «подрывную» литературу. Я, естественно, отказался, но уверен, что неприятности последовали бы, не вмешайся Маргарита Ивановна. Вспоминая ее, я поражаюсь тому, как она избежала ареста, почему ее, типичного представителя блестящей дореволюционной русской интеллигенции, не замели, каким образом она не только устояла, но и активно участвовала в общественной жизни страны, в которой люди ее типа и происхождения уничтожались чохом?

* * *

В облике Маргариты Ивановны было что-то... несоветское. Описать это словами не могу. Но чувствовалось, что она не из «простых» ни лицом, ни манерами, ни тем прекрасным и образным русским языком, которым она говорила. Тогда, правда, я не особенно задумывался над этим, но много позже, когда писал эту книжку, захотелось узнать, откуда родом Маргарита Ивановна Рудомино? Интернет оказался не точным источником, равно как и Википедия. К счастью, мне удалось дозвониться до Адриана Васильевича Рудомино, ее сына, так что сведения у меня, можно сказать, из первоисточника. Оказывается, род Рудомино – из обрусевших немцев. Мать Маргариты Ивановны была из аристократического рода фон Бэр, с отцом же сложнее. Фамилия Рудомино весьма известна в Литве, более того, под Вильнюсом есть маленький городок Рудомино. Так что есть основания полагать (но не утверждать), что и отец Маргариты Ивановны был из дворян. Что до его профессиональных занятий, то они неизвестны. В любом случае, я правильно угадал «несоветское» происхождение моей первой советской работодательницы.

Маргарита Ивановна окончила филологический факультет МГУ в 1926 году и при поддержке Луначарского создала Всесоюзную государственную библиотеку иностранной литературы (ВГБИЛ), которую возглавляла пятьдесят один год. На базе созданных ею лингвистических курсов библиотеки был основан Государственный педагогический институт иностранных языков. При ее деятельной поддержке родились журналы «Интернациональная литература» и «Иностранная литература». Переоценить вклад этой женщины в сохранение и развитие культуры в России невозможно. Если представить себе, в каких условиях она отстаивала свое дело, то точнее Сергея Аверинцева не скажешь: «Труд М. И. Рудомино был героическим в самом буквальном смысле слова». Когда в 1973 году дочери Председателя Совета министров А. Косыгина захотелось возглавить ВГБИЛ, Маргариту Ивановну вызвали в Министерство культуры СССР, где встречался с ней не министр (видимо, Фурцева считала, что это не ее «уровень»), а замминистра и начальник отдела кадров. Потребовали, чтобы она написала заявление об уходе на пенсию, и когда М. И. отказалась, пригрозили снять «за допущенные ошибки». В конце концов ее вытолкнули на пенсию, даже не позволив остаться работать в созданной ею библиотеке, чтобы написать ее историю. Правда, М. И. все же написала книжку – но не с помощью, а вопреки. Такие были времена.

* * *

Прошел год, и Маргарита Ивановна попросила меня зайти в ее кабинет. Напомнив мне о нашей договоренности, она спросила, имел ли я свободу говорить о чем хотел и как хотел? Я ответил, что да. Тогда, сказала она, я должен согласиться на оплату моих лекций. Чувствуя себя полным идиотом, я согласился. И с тех самых пор стал получать по семь рублей за лекцию (кандидаты наук получали десять, но у меня не было степени), то есть двадцать восемь рублей в месяц.

Я хотел бы еще написать, хотя бы коротко, об особом читальном зале, который существовал во всех сколько-нибудь крупных библиотеках Советского Союза, а именно о спецхране. Доступ туда имели люди, чьи профессиональные занятия требовали обращения к той или иной «закрытой» литературе. «Закрывал» литературу Главлит – отчасти по своему разумению (например, все романы и рассказы Хемингуэя были «открыты», кроме «По ком звонит колокол»; его запретили, поскольку описание гражданской войны не соответствовало советскому взгляду на это событие. Недоступен был и роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» – потому что он с точки зрения цензоров слишком положительно показывал рабовладельческий Юг США), отчасти по определенным правилам (скажем, «закрывали» всю некоммунистическую периодику). Дело доходило до полного абсурда. Так, будучи уже сотрудником Гостелерадио СССР, я имел доступ к спецхрану великолепной справочной этого учреждения. Но поскольку работал я в Главной редакции радиовещания на США и Англию, я мог читать только американскую и британскую прессу. А французскую или немецкую – нет.

Сжигают ли книги, запрещают ли, изымают ли с полок школьных библиотек, как все еще происходит и в США, и в других странах, – под этими действиями лежит один общий знаменатель: боязнь иного мнения, опасение, что оно бросит вызов принятым нормам и традициям и повлечет за собой непредсказуемые последствия. Чем менее уверено в себе общество, тем более жестко и жестоко оно реагирует. Советский Союз – ярчайшее тому подтверждение. О том, как обошлись с Пастернаком, Бродским, Солженицыным, знают все. Но ведь несть числа жертвам советской государственной машины: Булгаков, Пильняк, Зошенко, Ахматова, Цветаева, Платонов, Мандельштам, Хармс... Любое общество, которое по той или иной причине страшится свободомыслия и тем более инакомыслия, страдает в своем отношении к писателю раздвоением личности. С одной стороны, оно видит в писателе несомненный плюс, поскольку тот может силой своего таланта добиться для этого общества гораздо больше, чем пропагандистский аппарат (например, Горький, Гайдар, Фадеев). Но с другой стороны, писатель способен нанести сильнейший удар по принятым взглядам, подорвать общественный порядок – и потому потенциально опасен. Эта шизофрения проявляется так или иначе во всех обществах, в зависимости от исторических и прочих традиций.

Невозможно в рамках этой книги подробно рассмотреть причины того, почему русская литература развилась как часть контркультуры, как течение, которое противостояло царизму. Крупные русские писатели крайне редко увлекались искусством ради искусства, они всегда, или почти всегда, занимали определенную позицию, отстаивали определенные взгляды – за что и страдали.

Удивительно, как мало помнят советские граждане о тех, кого «просвещенная Россия» мордовала за то, что они писали, о чем думали. Например, Николай Новиков, которого на пять лет похоронили в Шлиссельбургской крепости по приказу Екатерины II; она же отправила в сибирскую ссылку Александра Радищева, чья замечательная книга «Путешествие из Петербурга в Москву» была запрещена в 1790 году и не печаталась в России сто пятьдесят лет (!) – до 1905 года. Я уж и не говорю о судьбе Лермонтова, о том, что Достоевский

был приговорен к смерти (и спасен театральной образом в последнюю минуту), об отлучении от церкви и предании его анафеме Льва Толстого... А помним ли мы, что «наше все» – Пушкин – имел в качестве персонального цензора самого царя, без разрешения которого не мог печататься? Александр Сергеевич был вполне по-советски невыездным, и сколько бы ни просил он о выдаче паспорта, неизменно получал отказы.

Думаю, справедливо предположить, что где-то в последней четверти восемнадцатого века в России родилась традиция, в соответствии с которой писатель либо противостоял системе, либо служил ей. И революция 1917 года не изменила ее.

Все те, кто вынужден был «писать в ящик», с кем расправлялись и морально, и физически, все эти люди – не случайные жертвы тупой бюрократии. Им заткнули рты вполне намеренно, считая их опасными. Разумеется, это не сугубо русское явление. И Мольер, и Байрон, и Гейне страдали от недовольства короны. Еще совсем недавно «левым» американским писателям устраивал своего рода аутодафе Комитет по антиамериканской деятельности Палаты представителей конгресса США. Тем не менее я не могу назвать вторую страну, писатели которой не только брали на себя функцию совести нации, но и выражали полную готовность нести за это ответ.

В годы «оттепели» невозможно было купить «лишний билетик» на поэтические вечера Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, проводившиеся в Лужниках на зимней арене, куда набивалось пятнадцать с лишним тысяч человек. Люди приходили не наслаждаться поэзией, а послушать страстные слова о жизни – об их жизни, их стране, их времени, узнать то, о чем не писали в газетах, не говорили ни по радио, ни по телевидению, то, что помогало им лучше понять, кто они сами и куда идут. И вот это на самом деле – исключительно русское явление.

Особо хотелось бы высказаться по поводу невероятной популярности Владимира Высоцкого. Высоцкий был хорошим актером, возможно, очень хорошим, но когда люди шли в Театр на Таганке, они шли не «на Высоцкого», а именно на спектакль «Таганки», «на Любимова».

Высоцкий был одаренным поэтом, возможно, очень одаренным, но изданные посмертно книжки его стихов никогда не являлись предметом массового ажиотажа.

Если бы не песни, Высоцкого, возможно, знали бы не больше, чем десятки и сотни других актеров. А что же сами песни и их исполнение? Играл на гитаре Высоцкий посредственно. Музыка его песен довольно рудиментарна, она не отличается ни профессиональным мастерством, ни даже оригинальностью. Более того, в исполнении других людей, исполнителей куда более профессиональных, песни эти не пользовались и не пользуются особым вниманием публики. Так чем объяснить неслыханную славу Высоцкого, почему его песнями заслушивалась вся страна – от рядовых людей до членов ЦК и Политбюро? Ответ очевиден, но я все-таки повременю с ним, чтобы провести некоторую параллель (разумеется, неполную).

Во Франции такой же, или почти такой же, всенародной любовью пользовался Жорж Брасенс. Он, как Высоцкий, сам писал слова и музыку своих песен, сам их пел, сам аккомпанировал себе на гитаре (надо признать, что делал он это несравненно лучше).

В Америке таким народным в подлинном смысле слова певцом стал Вуди Гатри – человек, сочинивший порядка трех тысяч песен, объездивший Америку вдоль и поперек, не имевший голоса и музыкального образования, но сумевший своими песнями выразить дух страны.

Думаю, что при всей непохожести популярность этих троих объясняется именно этим: они лучше всех сумели ухватить и выразить суть страны в конкретный момент, они сумели сказать то, что думали, но не могли либо боялись сказать все остальные, они стали рупором собственного народа – на определенное время и в конкретных обстоятельствах. Если сегодня

взять молодого россиянина и поставить ему самые знаменитые песни Высоцкого, не сомневаюсь: они не вызовут в нем никакого отклика, вернее, он не поймет, в чем их пафос.

И в этом смысле Высоцкий – явление куда более временное, чем, скажем, Ахматова или Ахмадулина.

* * *

Я написал это двадцать лет тому назад и не знаю, оказался прав или нет. Сегодня Высоцкий менее популярен, чем был тогда, – это бесспорно. Высоцкий, выразитель чаяний народных, не востребован в обществе, где каждый может безнаказанно высказаться о ком угодно не на кухне, заметьте, а публично – через Интернет. Но все равно Высоцкий популярен. Он явно больше, чем просто острый и остроумный комментатор-бард общества, в котором жил. В нем есть что-то еще. Когда я писал, что век его будет много короче, чем век Ахматовой или Ахмадулиной, моим мерилom было Искусство, в котором я ему отказал. Снобизм с моей стороны? Может быть.

* * *

Странно, но совершенно иностранного по происхождению слова «интеллигенция» нет в других языках. Скажем, слово «intelligence» по-английски и по-французски значит «ум», а «intelligent» – «умный». Слово же «intelligentsia» всегда употребляется применительно к России и к определенной прослойке общества, существующей только в нашей стране. Как так получилось, что лишь в России появилась эта прослойка – для меня загадка. Но если попытаться определить, что ценное дала миру Россия, то первое, что приходит в голову, – это интеллигенция. Как сформулировать определение этого понятия – не знаю. Но знаю совершенно точно: эта немногочисленная группа людей была брильянтом чистейшей воды. Преломляя через себя лучи свободы, она сконцентрировала такой жар, что отсталая, недо развитая Россия зажглась и чуть не погибла в пожарище создания нового, никогда дотолле не существовавшего общества. Малочисленность интеллигенции и крайняя ее концентрированность одновременно составляли ее силу и ее слабость. Словно луч солнца, пронзающий лупу, эта обжигающая точка света могла зажечь все что угодно. Но ничего не стоило эту точку загасить. Что и предпринял Сталин.

Как всегда, мудрый вождь прекрасно отдавал себе отчет в том, что он делает и почему он это делает. Ведь интеллигенция по определению состоит из людей, вечно подвергающихся все сомнению. Они все анализируют, во всем сомневаются. Она, интеллигенция, – дрожжи в общественном тесте, никаким гнетом ее не удержать. Но она никогда не действует как единое целое, никогда не шагает в унисон под одним знаменем. Вот и получается, что главная сила интеллигенции – умение и желание рассматривать, оценивать, вопрошать – одновременно является ее главной слабостью. Этим и воспользовался Сталин, поставив одну группу против другой, уничтожая одних усилиями других, и так до тех пор, пока, по сути, не исчезла вся сколько-нибудь реальная оппозиция. А дальше пошли рубить сами корни. Это был геноцид, интеллектуальный геноцид, и как таковое это было преступление против человечности – о чем пока молчат.

Полвека спустя я задаюсь вопросом: существует ли сегодня интеллектуальное сообщество, воспринимаемое как моральный эталон как образец порядочности? Разве за эти годы сумела развиться новая интеллигенция? А если нет, то что это означает с точки зрения перспектив перестройки? Известна аксиома, что без поддержки народа любые попытки общественного обновления обречены на провал, но достаточно ли для успеха только народной

воли? Коль скоро считается, что без интеллектуального руководства большевиков революция не состоялась бы, следует задуматься: а может ли перестройка состояться при отсутствии интеллектуального лидерства? Говоря иначе, есть ли дрожжи в этом социальном тесте? Успех перестройки зависит от множества факторов, прежде всего от радикальной экономической реформы, от глубокой политической реструктуризации, от решения тяжелейшего национального вопроса. Но по моему убеждению, все это напрямую связано с существованием здоровых интеллектуальных сил, задающих вопросы, во все влезających, ничьему слову не верящих. Без этого не может быть никаких надежд на создание демократического и гуманистического общества.

* * *

Я тогда не понимал одной простой истины: невозможно реально и радикально изменить общественный строй руками тех людей, которые этот строй содержали, были его оплотом.

Чем объяснить очевидные успехи в развитии гражданского общества и демократии в таких странах, как Польша, Чехия и Венгрия, в странах Балтии? Главным образом тем, что к руководству этих стран пришли противники прежнего режима – Валенса, Гавел и им подобные. Крычагам управления не было допущено бывшее руководство. А в России? В России ровно наоборот. Михаил Сергеевич Горбачев являлся крупнейшим партийным функционером, почти такой же – Борис Николаевич Ельцин; Владимир Владимирович Путин – не только часть партийной машины, а к тому же и бывший работник КГБ. Могли ли эти выдающиеся по своим способностям и данным люди восстать против той системы, которая породила их? Я утверждаю: не только не могли, но – и это важно – в глубине души не хотели.

В России не произошло никакой чистки – я не имею в виду расстрелы, «посадки» и другие ужасы, сопряженные со сталинским пониманием этого слова. Я говорю об отстранении от ключевых механизмов управления всех тех – и речь идет о сотнях тысяч (если не о миллионах), – кто прежде их монополизировал. Попробуйте сегодня в России найти хотя бы одного человека, который до анонсированной Горбачевым перестройки был диссидентом, критиком советской власти. Это вам вряд ли удастся.



Парк Культуры. Беру интервью для «Московского радио». 9 мая 1985 г.

Мучительно медленное продвижение России к демократии, мучительно тяжелое рождение демократии объясняется только этим. Все, что я писал тогда о необходимости радикальных экономических реформ, политических изменений, национальном вопросе, – все это не более чем благие пожелания, а то и пустословие, если не рассматривать всерьез кардинальную смену руководящих кадров на всех уровнях. Этого-то как раз и не произошло.

Я пишу эти строки летом 2011 года, когда все еще неизвестно, кто будет баллотироваться в президенты Российской Федерации – Дмитрий Анатольевич или Владимир Владимирович. Сама по себе это ситуация совершенно безобразная, говорящая о полном презрении и того, и другого к так называемому избирателю. Такая ситуация совершенно немыслима для любой страны, уважающей своих граждан. Если же власть их не уважает, граждане платят ей той же монетой.

Думаю, значительному большинству россиян совершенно безразлично, кто станет президентом в 2012 году – Медведев или Путин. Я понимаю их, хотя считаю, что возвращение Путина в президентское кресло будет означать лишь одно: еще большее замедление хода страны, общества к демократии, еще большее ее отставание и от Европы, и от Америки. Это движение ускорится только тогда, когда все путины канут в Лету и на их место придут люди, не служившие прежней власти, не зараженные ею на генетическом уровне.

* * *

В 1988 году я принял участие в одной из программ Теда Коппела, одного из самых уважаемых и популярных американских телеведущих. В какой-то момент он спросил меня, почему я являюсь противником религии. Я ответил приблизительно следующее (это не цитата, но весьма близка к ней):

– «Я противник религии потому, что она заставляет нас отказаться от главного нашего человеческого качества, а именно – от любопытства, способности сомневаться и задавать вопросы. Религия требует одного: веры».

Разве это же не применимо к диктатуре, к тоталитарному обществу?

Нет ничего важнее для развития общества, чем подвергать все сомнению, ставить вопросы и получать на них ответы. Собственно, это и есть матрица любой мысли. Декарт сказал: «Мыслю – следовательно, существую», я сказал бы: «Сомневаюсь – следовательно, мыслю». Ищете ли вы ответа на вопрос, анализируете ли вы событие, думаете ли о недавно прочитанной книге или увиденном фильме, пытаетесь ли разобраться в своих отношениях с супругой/супругом или с детьми, в конце концов, пытаетесь ли понять самого себя – *вы все время задаете вопросы. У нашего мозга нет более значимой функции. Вся эволюция есть не что иное, как результат сомнений. Чем лучше развита способность сомневаться и формулировать вопросы, тем выше интеллект (вспомним Сократа, Эйнштейна, Дарвина, Гегеля, Маркса).*

В конечном счете все сводится к одному-единственному слову: *почему?* Если лишить человека этого слова, он превратится в животное. К счастью, такого не случится никогда, хотя попытки сделать это были и будут. Мы теперь знаем, что можно обезглавить нацию, уничтожив ее интеллектуальную элиту. Об этом в одном интервью замечательно сказал Карлос Фуэнтес: «Самые великие преступления против человечества были совершены во имя уверенности. Именно те, кто утверждал, что знают ответы на все вопросы, именно те, кто претендовал на истину в последней инстанции, – именно они совершили самые страшные в истории преступления. Гитлер, Сталин и Мао – примеры лишь двадцатого века. Но если мы окинем взором прошлое, то увидим всех этих королей, царей, императоров, религиозных фанатиков и вспомним о Крестовых походах, а также о миллионах человеческих жизней, о десятках тысяч городов, о целых цивилизациях, уничтоженных потому лишь, что некая личность или какая-то группа людей была уверена: *она владеет всеми ответами, или самым главным и единственным ответом на все вопросы.* Если мы хотим жить достойной жизнью, мы должны раз и навсегда отказаться от того, чтобы кому-либо верить на слово». В этом смысле, следует тщательным образом взвесить и деи Маркса и тем более Лени на. С точки зрения диалектики постоянно только одно: движение. Статичность равна смерти. Диалектика, применительно к социальному анализу, требует регулярной постановки вопросов, и это единственный способ оценки непрерывно изменяющихся сложных взаимоотношений и связей. Это и в самом деле интеллектуальная доктрина и подход к изучению явлений. Но между открытостью и будоражащей мыслью марксистской философией и ее практическим воплощением существует глубокое противоречие. По сути, не было случая, чтобы конкретное воплощение этой философии (как и любой утопии) не привело к уничтожению интеллектуального сообщества, к прекращению любых общественно значимых дискуссий, к появлению так называемого марксистского государства, которое на самом деле являло бы собой антитезу марксистской мысли: замену дебатов одной и «единственно верной» точкой зрения.

Таким был Советский Союз. Такой была Китайская Народная Республика. Это верно для всех стран, в которых к власти пришли так называемые марксисты-ленинисты, будь

то Куба или КНДР, Румыния или Вьетнам, Албания или Монголия – страны, абсолютно не похожие друг на друга. Впрочем, одно их объединяет: они вступили на социалистический путь развития, будучи отсталыми, слабо развитыми. Это касается и России. В противовес предсказаниям Маркса ни в одной индустриально развитой стране не было социалистической революции. Почему? И если бы такая революция состоялась, стали ли бы мы свидетелями все той же картины? Может ли так называемый социализм существовать без подавления интеллектуальной свободы?

Когда новая социальная формация борется за свое существование, когда оно подвергается ударам изнутри и снаружи – как это было с Советской Россией в 1918–1922 годах, когда положение в самом деле является военным, это вряд ли способствует развитию демократических дебатов. Не исключено, что окажись Советская Россия не в столь враждебном окружении, страна пошла бы по другому пути. Возможно, да. А возможно, и нет.

Вопрос: когда марксизм становится государственной философией, не теряет ли он свое главное и самое привлекательное качество – свойство все подвергать сомнению? Вопрос архиважный, тем более что исторически известно: государственные учреждения никогда не поощряли задавание вопросов и выражение сомнений.

Мы знаем, что Ленин считал невозможным существование партии без дебатов, без отстаивания разных точек зрения. Но знаем мы и то, что именно Ленин сформулировал для партии принцип «демократического централизма», где слово «демократический» можно понимать как открытые дебаты, без которых нет новых идей (без них партия умирает); «централизм» же означает, что дебаты прекращаются, как только большинство проголосовало. Более того, член партии обязан выполнять решение этого большинства и не имеет права возражать против него.

Я стал членом КПСС в тридцать три года. В отличие от тех, кто из пионеров «автоматом» переходил в комсомол, а потом по этой наезженной колее вступал в партию, я пионером не был. В комсомол я вступил зимой 1954–1955 года, будучи второкурсником. Вступление это запомнилось на всю жизнь. Мою кандидатуру обсуждал весь курс на общем собрании, человек триста. Как обычно, попросили «рассказать о себе», потом пошли вопросы – сначала по уставу, который я знал на зубок, потом по истории, в чем я тоже был силен. Словом, все шло по накатанной дорожке, как вдруг одна сокурсница встала и потребовала: «Расскажи, как ты боролся против капитала, когда жил в Америке?» Мне показалось, что она шутит, но поскольку никто не рассмеялся, я попросил ее уточнить вопрос. «Ты был в подпольном движении борьбы против капиталистической эксплуатации?»

Тут-то я понял, что я в безвыходном положении, что ничего объяснить ей не смогу. Ее воспитали так, что у нее сложилось свое представление о Соединенных Штатах, и что бы я ни сказал, я ничего не изменю в ее взглядах. Поэтому я просто ответил, что не был членом никаких подпольных организаций. Она отреагировала соответствующим образом: «Товарищи, мой отец – посол Советского Союза в Китайской Народной Республике, он очень хорошо разбирается в таких вопросах, и он учил меня не доверять людям вроде Познера, воспитанным на Западе».



Моя мама с Катей. 1969 г.

Несмотря на это, подавляющее большинство моих сокурсников проголосовали за меня, но я никогда не забуду ее слов...

Затем мою кандидатуру утверждал факультетский комитет комсомола. Меня попытались поймать на вопросе «Что сказал Маркс на могиле Энгельса?» – но я не поймался. Потом спросили, читал ли я последние газеты. Какие события показались мне наиболее важными? Случилось так, что в течение недели, предшествовавшей моему приему, мы переезжали из гостиницы «Метрополь» в новую квартиру. Из-за миллиона разных дел читать что-либо было некогда. Я и объяснил – мол, так и так, газет не видел. В ответ на мои слова воцарилась мертвая тишина. Потом, после некоторого молчания, один из членов комитета, откашлявшись, проговорил:

– Володя, мы не можем принять тебя в комсомол, ведь ты же знаешь, что комсомолец должен был политически грамотным и хорошо подкованным. Мы даем тебе неделю, чтобы ты восполнил этот пробел.

И меня отпустили. Через пару дней я встретил этого члена комитета на факультете, и он сказал мне:

– Ты что, Володь, ох...л? Читал ты газеты, не читал – какое это имеет значение? Не хочешь – не читай, если ты такой мудило. Нам-то насрать на твой переезд. Сказал бы, что читал, ну, не ответил бы насчет событий, все равно приняли бы. Думать надо головой, Володь, а не жопой!



В усах и с бородкой – но ненадолго. 1969 г.

И в самом деле, ровно через неделю мне задали тот же вопрос, я подтвердил, что газеты читал (чистая правда!), и за то, чтобы принять меня в ряды Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, проголосовали единогласно. Тогда я впервые стал дога-

диваться о том, что означает членство в ВЛКСМ, насколько оно может быть формальным. Но не подозревал, что вскоре это станет главным рассадником цинизма и коррупции в стране. Предельно важным делом я считал членство в КПСС. С одной стороны, многое в руководстве партии вызывало во мне протест (шел 1967 год, Хрущева скинули за три года до этого, и у власти был Л. И. Брежнев); само советское общество казалось мне душным, в чем-то неприемлемым. Но с другой стороны, мог ли я надеяться что-либо изменить, не являясь членом партии? Можно ли быть активным членом общества, находясь вне центральной силы этого общества? От этой головоломки я сходил с ума. Решение было принято в конце концов благодаря двум людям – Иосифу Давыдовичу Гордону и Николаю Яковлевичу Тиллибу, старому большевику, латышскому стрелку. Как истинный латыш, Николай Яковлевич говорил мало и по делу: «Если хочешь быть коммунистом, если хочешь исправить что-то – вступай в партию. Но хорошо подумай прежде, чем сделаешь это. Это будет не просто, оцени, хватит ли у тебя сил».

Он оказался прав. Это было и есть не просто – что, в общем, не беспокоит меня. Не стремился же я в партию ради развлечений. Но несмотря на то что я член партии с 1967 года, я все еще противлюсь принципу демократического централизма и не нахожу решения дилеммы, которую он ставит.

Будучи членом команды, ты можешь сколько угодно обсуждать тактику и стратегию, но когда тренер принял решение, с которым команда согласна, ты обязан выйти на поле и сыграть так, как было договорено, даже если ты не согласен с принятым планом. Либо тебе придется уйти из команды. Но вот вопрос: как же сыграть по плану, с которым ты принципиально не согласен? Это не риторический вопрос. Применительно к партийной дисциплине мы все помним не один эпизод, когда решение партии оказывалось катастрофическим для страны – например, насильственная коллективизация или оказание «интернационалистической помощи» Афганистану. Правда, ни в том, ни в другом случае не было никакого открытого обсуждения. Несогласных арестовывали, расстреливали, ссылали, отправляли в психлечебницы. Когда партия объявляла о каком-либо своем решении, ни средства массовой информации, ни общество в целом не обсуждали этого решения, а лишь выражали горячее его одобрение.

Марксизм утверждает, что научный метод анализа способен прояснить самые сложные и важные политические и социальные истины. Однако во всех странах, где к власти пришли коммунистические партии, именно они стали единственными обладателями истины в последней инстанции.

Партия утратила свою роль исследователя общественного развития, как мне кажется, потому, что она к своей *политической* функции присовокупила функцию *управления*. Она стала не только разрабатывать стратегию, не только агитировать массы, но и непосредственно управлять всеми процессами – от биологической науки до языкознания. Это начинает меняться при перестройке, но очень медленно – ясно, что высшие партийные функционеры не горят желанием расставаться с должностью верховного главнокомандующего всего и всех.

Что до рядовых партийных работников, то для них ситуация вообще выглядит устрашающей. Ведь в течение десятилетий партработник мог в принципе рассчитывать на занятие любой должности – министра, председателя комитета, посла. Это вытекает из той простой истины, что партработник на самом деле ни в чем не является экспертом, специалистом, он умеет только одно: управлять тем, что поручит ему партия, и так, как хочет партия. Потому и возможна ситуация, когда председателем Госкино становится человек, чье знакомство с кинопромышленностью и киноискусством ограничивается любительским просмотром кинофильмов. И именно такой партработник до самого последнего времени принимал все решения, касающиеся кино в Советском Союзе. Решения, которые базировались на без-

ошибочной мудрости партии. Но теперь, когда мы начинаем возвращаться к ленинскому взгляду на роль политической партии, на что надеяться нынешнему партработнику?

Потеряй я работу, я сумею устроиться – ведь у меня в руках профессия. Я журналист. К тому же я знаю языки. В худшем случае я смогу зарабатывать переводами. Но что ожидает партработника, лишившегося места, тем более если он или она уже много лет трудятся в этом качестве и давно забыли то, чему когда-то учились? Ведь и управлять-то они умеют престранным образом. Как правило, они только мешают людям работать. Во всем мире фермеры, крестьяне сажают, выращивают и собирают то, что считают нужным, тогда, когда считают это нужным. Но только не в Советском Союзе.



Во время съемок одной из программ серии «Донахью в России». 1987 г.

Здесь партия указывает председателю колхоза, что сажать, когда сажать и когда собирать урожай. Не бред ли? Морозы, жара, снег, дождь – это не его вопрос. Приказано сажать такого-то числа – и баста! Приказали сажать кукурузу там, где она не может расти? Сажай! А не будешь сажать – тебя посадят. Так-то.

В этой ситуации председатель колхоза имеет три возможности. Наиболее смелые и независимые посылают партийное начальство на три буквы, что сопряжено с огромным риском, вплоть до расстрела (так было еще в совсем недавнем прошлом). Партработник не может позволить, чтобы крестьянин оказался прав, а он – нет. Лучше сгноить его, упрятать за решетку, чем допустить, чтобы он добился выдающегося результата и тем самым нанес удар по престижу партработника. Более осторожный председатель правления отвечает «Есть!», потом возвращается в колхоз и поступает так, как считает нужным. Наконец, председатель, которм у не раздавали по башке, которм у все у же все равно, говорит «ну и х... с вами!» и выполняет указания. И потом все удивляются тому, какое тяжелое положение царит в советском сельском хозяйстве. Что до меня, то я поражен, что оно вообще функционирует. Как, впрочем, и все остальное...

Партийные работники указывают художникам, что и как рисовать, писателям – о чем и как писать. Результат такого «управления» ничуть не лучше того, что мы имеем в сельском хозяйстве.

Сейчас многое меняется радикально, но принцип демократического централизма все еще стоит незыблемо. Да и шестая статья Конституции СССР оговаривает «руководящую роль» партии. Если согласиться с тем, что инакомыслие и сомнения – необходимые витамины, обеспечивающие здоровье общества, то от этих двух принципов необходимо отказаться. Но и этого мало...

Подавляющее большинство американцев убеждены в том, что они имеют право все подвергать сомнению. Но это... как бы. Сколько американцев готовы публично усомниться в политике той компании, в которой работают? Сколько, скажем, высокопоставленных работников нефтяной индустрии способны публично подвергнуть сомнению экологическую стратегию своих компаний? Сколько, например, членов Национальной ассоциации стрелкового оружия могут открыто признаться в том, что на самом деле эта организация в гораздо меньшей степени озабочена защитой права американского гражданина хранить оружие, и в гораздо большей – прибылью от продажи десятков миллионов единиц этого оружия? На мой взгляд, американская пропаганда преуспела в том, чтобы убедить своих граждан *верить*, а не *действовать*. Это проявляется во всем, даже в американском шовинизме, который не отличается особой агрессией, но выражает абсолютное убеждение в том, что Америка – страна особенная, а американцы – избранный богом народ. Собственно, об этом совершенно откровенно и безо всякого стеснения говорит президент Рейган, сравнивая Америку с библейским городом на горе, поставленным там самим Господом Богом на обозрение всем другим. В определенном смысле это напоминает мне то, чего сумел добиться Сталин, убедивший советский народ, что его страна – самая-самая в мире. Подобная пропаганда более успешна в Америке отчасти потому, что ведется давно, но главным образом из-за того, что в Америке как нигде умеют «продать» товар; пропаганда в Америке является на самом деле наукой, отростком от мощного древа рекламы, которой никогда (к сожалению) не было в Советском Союзе.



С Айваной Трамп, женой Доналда Трампа. Нью-Йорке, 1990 г.

Помню, как меня «нокаутировал» один американец, гордо мне заявив: «Если я не хочу работать, я могу не работать! Если я хочу жить на улице, то это мое право!» Он пытался доказать мне превосходство его политической системы над моей. Но тот факт, что у него нет права на работу, нет права на крышу над головой, даже не пришел ему в голову. То есть он не стал подвергать сомнению (хотя с гордостью скажет вам, что у него есть такое *право*) то, чему его научили, а именно: безработица есть право не работать, бездомность есть право жить на улице, наконец, то и другое есть доказательство американской демократии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.